

Глава третья

Панин Хутор

Горькая обида выгнала Николашу Лескова из Горохова в Орёл, горькая же обида заставила его родителя покинуть сей славный город. «Тогда мы оставили наш орловский домик (...) продали все в городе», — вспоминал Николай Семёнович. Что же было продано? На момент выхода в отставку С. Д. Лесков располагал следующей собственностью: «Имение за ним значится по городу Орлу — благоприобретенный дом с местом и при нем дворовых людей мужска пола три и женска одна душа, и за женою его дворовых людей женска пола две души...» Продажа городского дома, вероятно, первоначально не планировалась. Лишь в части официальной ОГВ за 1841 г. (N 38 и 39 от 19 и 26 декабря, с. 657 и 685) появилось сообщение о предстоящей продаже «деревянного дома надворного советника Семёна Лескова...»

(ГАОО, ф. 4, N 601, листы 920-922). Лесковы подбили финансы, и «у них составилось десять тысяч (около 3000 рублей серебром)». Из расчета этих денег они купили у генерал-лейтенанта Александра Ивановича Кривцова 50 душ крестьян в Кромском уезде на Средней Гостомке (Гостомли). Увы, десять тысяч «составились» в подсчетах Семёна Дмитриевича и Марьи Петровны лишь на бумаге. Кривцову отдали пять тысяч чудом сохранившихся знаменитых «винных денег», остальные предполагалось взять из приданого бывшей девицы Алферьевой — именно эту сумму обещал дать за нею «благодетель» Страхов. Да так и не дал. Сестрица Наталья тоже не спешила исправить эту несправедливость — возможно, тому причиной были большие расходы на ее новую семью. Так Лесковы страховского взноса за приданое Марьи Петровны и не получили. После выяснения сего печального факта «деревенька (часть купленного имения — Н. Л.) поступила за долг в продажу». Но даже сбыв деревеньку, семья Лесковых не смогла расквитаться с Кривцовым. Спустя два года он стал требовать через губернское правление уплаты оставшейся за должниками суммы — 1285 рублей 713/4 копейки серебром (ГАОО, ф. 4, N 601, лист 620). Благороднейший Луциан Ильич Константинов решил помочь попавшим в беду родственникам: «задрал цену» на торгах с первоначальной суммы — 1125 рублей до 1300 рублей, требуемых для ликвидации долга. Через неделю Константинов перепродал дом — не дай Бог порядочному человеку нажиться на близких! — ровно за потраченные им деньги поручику Василию Мацневу (ГАОО, ф. 6, оп. 1, ед. хр. 3130, л. 34-34 об.)¹, и Лесковы наконец освободились от долгового ярма. Остались они в итоге при одном маленьком хуторе Панино, «где была водяная мельница с толчеею, сад, два двора крестьян и около 40 десятин земли. Все это при самом усиленном хозяйстве могло давать в год около 200-300 рублей дохода, и на это надо было жить отцу и матери и воспитывать нас, детей, которых тогда было семеро, в числе их я был самый старший».

¹ Фамилия поручика уточнена Р.М. Алексиной, как и все приведенные выше цифры и документы по факту купли-продажи между Лесковыми и Кривцовым.

Так в детстве Николая Лескова появилось третье пристанище.

Родители его получили «полную свободу свистать в кулак» — на Панином Хуторе семье жилось голодно и бедно. Зато маленького Лескова известие о предстоящем скором переезде на житье в деревню исполнило восторгом. Здравствуй, вольная крестьянская волюшка: в компании деревенской ребятни ездить в ночное, лазать по деревьям, сдирая в кровь колени и локти, купаться в реке до синих пупырьев, зорить птичьи гнезда да печь в костре изъятые оттуда яйца! А надоест — айда играть дотемна в «веревочку», ножички, камки и пятнашки — это ли не оно, настоящее мальчишечье счастье?!

Однако не телом единым жив человек. Общение со сверстниками тешило тело, но не давало пищи пытливому уму и воображению. Как и в Орле, отрока Лескова тянуло ко взрослым людям во всем их многообразии, особенно к разного рода оригиналам, юродивым, чудакам и добрякам, объединяемым теперь лесковедами в одну группу — «лесковские праведники». У мальчика быстро образовался «обширный круг знакомых из людей самых разнообразных положений и возрастов», в который входили и бывший киевский студент, подвергнутый опале за политическое вольнодумство; и степенные бородачи, допускавшие «паныча» даже на секретные раскольничьи моления; и умильные старушки, угощавшие мальчика «прощеными пирогами» с вишней; и колоритные деды, охотно делившиеся с пытливым отроком нехитрыми народными мудростями. «Особенно пленителен старый мельник, дедушка Илья, — прямо-таки в распевном былинном стиле воссоздавал рассказы отца Андрей Николаевич. — Каких только тайн природы и чудесных происшествий не знает он? Тут и сказочные кикиморы, и леший, и оборотни со всеми их проделками, каверзами и проказами. Имея уже четверть века писательства за плечами и тепло вспоминая своего нежданного друга, забавника и наставника, Лесков благодарно и убежденно восклицал: «Лесные родники осиротели бы, если бы от них были отрешены гении, приставленные к ним народною фантазией!» Еще в Панине он уже близок и мужикам, и парням, и ребятишкам, с которыми пасет лошадей «на кулигах», ловит с ними пескарей и гольцов

в узенькой, но чистой речке Гостомле, сам загоняет в пруд ореховой хворостиной гусей...»

— Ты вот что, — говаривал «умилительный мельник» Илья, — ты мужика завсегда больше всех почитай и люби слушать.

И Лесков понимал, любил и слушал. «Феакійцы не слушали так Одиссея, как слушал я кучера Илью Васильевича», — восхищенно восклицал он, помяная другого Илью, возившего их с бабушкой Александрой на богомолья.

Не менее колоритными оказались и женские типы «Из Гостомельских воспоминаний». Взять хоть Мавру Петровну, героиню берущего за душу «Жития одной бабы»: «Старик Минаич рассказывал, что в молодые годы Петровна была первая красавица по всему Труфанову, и можно этому верить, потому что и в пятьдесят лет она была очень приятная старуха: росту высокого, сухая, волосы совсем почти седые, а глаза черные, как угольки, и такие живые, умные и добрые. Доброте ее меры не было: всем она всё прощала. Муж ее тиранил, увечил и пьяница к тому же был; а она, как овечка Божия, всё ему угождала, и слова от нее на мужа никто не слышал. Всё, бывало, его ублажает: «Антонович да Антонович, такой-сякой немазанный, утихомирься ты, перекрестись, испей водицы!» Ни жалобы, ни свары от нее он никогда не видал. А как помер ее муж, так она его оплакала горькими слезами и на могилку все ходила и голосила голосом: «Касатик ты мой миленький! На кого же ты меня покинул? Кто меня приголубит? Кто меня пожалеет?» Словно как и в самом деле она от него жалость какую в своей жизни видала. Как умер Антоныч, Мавра Петровна сама стала о детях печалиться. От Костика ей никакого почтения не было: разбойник разбойником вышел»...

Николка впитывал впечатления, как живая губка: часами сидел на высоком дереве, созерцая расстилающиеся перед ним поля, пригорки, лески; ходил в ночное, а чуть минует «чудотворящая ночь» — охотился с ребятами на перепелов, удил гольцов и пескарей в маленькой, но чистой речке Гостомле. А по утренней росе — охота!

«Стояло серое летнее утро. Туч на небе не было, но и солнце не выглядывало, воздух едва колебался тихими, несмелыми порывами чрезмерно теплого ветерка. Такие летние утра в срединной

России необыкновенно благоприятно действуют на всякое живое существо, до изнеможения согретое знойными днями. Таким утрам обыкновенно предшествуют теплые безлунные ночи, хорошо знакомые охотникам на перепелов. Чудные дела делаются с этой птицей в такие чудесные ночи! Всегда падкий на сладострастную приманку, перепел тут как будто совсем одуревает от неукротимых влечений своего крошечного организма. Заслышав манящий клик залегшего в хлебах вабильщика, он мигом срывается с места и мчится на роковое свидание, толкаясь серою головкою о розовые корешки растущих хлебов. Только расставишь сетку, только уляжешься и начнешь вабить, подражая голосу перепелки, а уж где-то, загончика за два, за три, откликается пернатый Дон-Жуан. В другое время, в светлую лунную ночь, его все-таки нужно поманивать умнечко, осторожно, соображая предательский звук с расстоянием жертвы; а в теплые безлунные ночи, предшествующие серым дням, птица совершенно ошалевает от сладострастья. Тут не нужно с нею никакой осторожности. Не успеешь сообразить, как далеко находится птица, отозвавшаяся на первую поманку, и поманишь ее потише, думая, что она все-таки еще далеко, а она уже отзывается близехонько. Кликнешь потихоньку в другой раз — больше уже и вабить не надо. Сладострастно нетерпеливое оханье слышится в двух шагах, и между розовых корней хлеба лезет перепел. Тут он уже не мчится сумасшедшим бедуином, а как-то плетется, тяжело дыша и беспрестанно оглядываясь во все стороны. Еще раз помануть его уже никак не возможно, потому что самый тихий звук вабилки заведет птицу дальше, чем нужно. Тут только лежишь и, удерживая смех, смотришь под сетку, а перепел все лезет, лезет, шумя стебельками хлеба, и вдруг предстает глазам охотника в самом смешном виде». Через годы уже зрелый писатель Лесков припомнил охоту на перепела, чтобы сравнить ее с другой «охотой»: «Кто имел счастье жить летом на Крестовском или преимущественно в деревне Коломяге и кто бродил ранним утром по тощим полям, начинающимся за этою деревнею, тот легко может представить себе наших перепелов. Для этого стоит припомнить чинного петербургского немца, преследующего рано, на зорьке, крестьянских девушек. Немец то бежит полем, то присядет

в рожь, так что его совсем там не видно, то над колосьями снова мелькнет его черная шляпа; и вдруг, заслышав веселый хохот совсем в другой стороне, он встанет, вздохнет и, никого не видя глазами, водит во все стороны своим тевтонским клювом. Панталонишки у него все подтрепаны от утренней росы, оживившей тощие, холодные поля; фалды сюртучка тоже мокры, руки красны, колена трясутся от беспрестанных пригинаний и прискакиваний, а свернутый трубкой рот совершенно сух от тревог и томленья. Таков бывает и перепел, когда, прекращая стремительный бедуинский бег между розовыми корешками высоких тоненьких стеблей, он тает от нетерпеливого желания угасить пламень пожирающей его страсти. Толчется пернатый сластолюбец во все стороны, и глаза его не докладывают ему ни о какой опасности. Он весь мокр, серенькие перышки на его маленьких голеньях слиплись и свернулись; мокрый хвостик вытянулся в две фрачные фалдочки; крылышки то трепещутся, оживляясь страстью, то отпадают и тащатся, окончательно затрепываясь мокрою полевою пылью; головенка вся взъерошена, а крошечное сердчишко тревожно бьется, и сильно спирается в маленьком зобике скорое дыхание. Метнется отуманенная страстью пташка туда, метнется сюда, и вдруг на вашей щеке чувствуется прикосновение холодных лапок и мокрого, затрепанного фрачка, а над ухом раздастся сладострастный вздох. Надо иметь много равнодушия, чтобы не рассмеяться в такую минуту. Самый серьезный русский мужичок, вабящий перепелов в то время, когда ему нужно бы дать покой своим усталым членам, всегда добродушно относится к обтрепанному франту. «Ах ты, поганец этакой!» — скажет он с ласковой улыбкой и тихонько опустит пернатого чертика в решето, надшитое холщевым мешочком».

Николаша просиживает часами в местной церквушке, которую расписывают богомазы-самоучки, восхищается нехитрыми «фресками», слушает странный для местного уха говорок мастеровых «с Нижняго», запоминает песни, шутки-прибаутки, байки да повестушки. Что для простого человека — обыденное течение жизни, для будущего «народного писателя» — неиссякаемый задел творческого «стойматериала» и, что весьма немаловажно, основополагающая часть биографии.

Очень помогла Лескову панинская бедность родителей, обусловившая его постоянное общение с «народными типами»! Пролитась эта часть биографии Лескова маслом на сердце не только «прогрессивно настроенным» современникам, но и позднейшим советским критикам: «Демократические сюжеты, проблемы социального бытия народа не могли не идти об руку с жизнью Н. С. Лескова», — формулирует кредо писателя автор многих работ о Лескове А. Горелов. И, спасибо ему за уместный пассаж, возвращает нас к лежащему на диване в своем кабинете пожилому человеку, перед внутренним взором которого проходит многообразное его «житие»: «И если из глубины лет в петербургский писательский кабинет плыли картины, стучались герои, доносились имена, речь, песни Гостомельщины, Орловщины; если в доме столичного литератора полновластно чувствовали себя простонародные вкусы и привязанности, — все это было сущностью, натурой художника с молодых лет». Это ощущение нераздельности с простым народом дало впоследствии Лескову смелость и право заявить: он знает «русского человека в самую глубь». «Я вырос в народе на гостомельском выгоне с казанком в руке, я спал с ним на росистой траве ночного, под теплым овчинным тулупом, да на замашной панинской толчее за кругами пыльных замашек (...). Я с народом был свой человек, и у меня есть в нем много кумовьев и приятелей». Кумовья и приятели имели место и в прямом смысле, и в переносном: он и сам чувствовал, и другим давал понять, что всякий русский человек другому русскому — родной. «Простонародный быт я знал до мельчайших подробностей, — с полным правом писал Лесков, — и до мельчайших же оттенков понимал, как к нему относятся из большого барского дома, из нашего «мелкопоместного курничка», из постоянного двора и с поповки. А потому, когда мне привелось впервые прочесть «Записки охотника» И. С. Тургенева, я весь задрожал от правды представлений и сразу понял: что называется искусством. Все же прочее, кроме еще одного Островского, мне казалось деланным и неверным. Самый Писемский мне не нравился, а публицистических рацей о том, что народ надо изучать, я вовсе не понимал и теперь не понимаю. Народ просто надо знать, как самую свою жизнь, не штудировав ее, а живучи ею».

В полной мере участвуя в жизни реального мира, на Панином Хуторе Лесков все чаще уходит в мир книжный. Здесь, паче чаяния, обрел Николаша сокровище, которым «не могло похвалиться пышное Горохово»: к семейной библиотеке, собранной отцом писателя, добавилась еще одна — не слишком многочисленная, но весьма своеобразная, брошенная без надобности прежним владельцем Панина. Читать Лескова никто не принуждал, не заохочивал — он сам выучился, и чтение было для него упоительным времяпрепровождением, сродни запою, недаром в памяти сына он остался «ненасытимым книголюбом». Перво-наперво он освоил «Новую Российскую азбуку» на серо-синей бумаге, выпущенную в 1819 году. Ныне она хранится в доме-музее Н. С. Лескова в Орле. На ее последних страницах можно увидеть первые каракульные «автографы» маленького Лескова. С «Азбукой», крепко зажатой в маленьких ручках, Николаша «вкусил первую сладость постижения грамоты, а с нею и многоценных наставлений» таких, например, как «от брани от ссор и протчих непотребных дел отступай», «помышляй о том еже есть праведно», «ленивые ни когда не наживаются а не проворные сидят часто голодные», «зло есть Господни заповеди нетворити за что повелевает и во ад затворить», «кто с плутами водится и сам таков же будет» и прочих, столь же глубокомысленных. В тетради на восьми листах умещалась «бездна премудрости», вплоть до таблицы умножения, рисунков и «Наставления как писать писма к разным особам». Теперь наш герой был подготовлен к жизни как никто: благодаря «Азбуке» он умел написать достойное послание хоть архиепископу, хоть дьякону, благочестивому старцу, сиятельному князю или графу, высокопоставленному военному, ну и конечно, отцу, жене, приятелю. Другую книгу — «Сто двадцать четыре священные истории из Ветхого и Нового завета, собранные А. Н., с присовокуплением к каждой истории кратких нравоучений и размышлений. В двух частях», изданную в Москве в 1832 году, с «массою поистине смехотворных гравюрок на дереве» — Лесков практически знал на память. «Я выучился грамоте сам, без учителя, и прочел эту книгу, имея пять лет от роду (...) Все ее истории сразу врезались мне в память, но не все они меня удовлетворили: по ним я очень полюбил Иисуса Христа, но удивлялся, что он

на некоторые предлагавшиеся ему вопросы отвечал как будто неясно и невпопад. Это меня мучило, и я стал подозревать, что тут что-то не так рассказано. После я читал множество книг, но это все-таки помнил и всегда хотел узнать: так ли Христос отвечал, как написано в книге «Сто четыре истории». Андрей Николаевич считал, что с этой книги началось духовное воспитание Николая Семёновича, а сам писатель признавался: «Личность Христа из нее мне более выяснилась, но ответы его совопросникам по-прежнему оставались неясными. Это было в первом классе гимназии, когда мне было десять лет». Упомянув в одной из статей о «достойных замечания» книгах, виденных им в 1863 году у раскольников Пскова, Лесков позднее писал: «Первую из этих трех книг я видел в моем детстве у моего отца, который брал ее у своего приятеля, покойного орловского купца, Ивана Ивановича Андросова... Двадцать с лишком лет прошло с тех пор, как я моими детскими руками переворачивал широкие листы толстейшей сине-серой бумаги, на которой напечатана эта книга, но и теперь я помню малейшие обстоятельства, при которых я упивался запрещенною книгой, отыскивая в ней именно те подробности христовых истязаний, которые мне хотелось во что бы то ни стало найти и которых я не мог допытаться ни от священной истории, лежавшей в моем шкафике, ни от тяжелой Библии, которую с благоговейным трепетом снимал со стола моего отца... Я не помню ни одной книги, которая бы, по моим тогдашним понятиям, могла представлять интерес, мало-мальски равный содержанию этой книжки, заставлявшей меня плакать по Христу и вскакивать ночью от образов страшного Иуды и чудовищной картины ада, с беседующими в нем людьми Ветхого завета...

Я решился сделать из этой любопытной книги большие выписки и выписал все, что может дать понятие о разноречии этой религиозной легенды с историческою истиною известных событий»².

² «С людьми древлего благочестия» — «Библиотека для чтения», 1863, №9. Выписки, сделанные Лесковым из старопечатной запрещенной книги, составляют тридцать две страницы убористой печати.

Свои первые книги Лесков всю жизнь бережно хранил в обширном личном архиве, который мы уже имели удовольствие обозреть в прологе. После смерти писателя архив перешел к сыну, удивительно точно определившему его ценность для нас, потомков, поклонников творчества Николая Семёновича Лескова: «Ценность этих книг «не в преподаваемой ими мудрости или достоверности повествуемого, а в том — кто жадно перелистывал и зачитывался их страницами в детские свои годы, более чем сто лет назад, в глухой деревеньке на «узенькой, но чистой» речке Гостомле». Книжные шкафы панинского дома наполняли самые разнокалиберные фолианты — духовные, светские и даже медицинские, вроде лечебника штаб-доктора Егора Каменского. И все они оказали влияние на мировоззрение Лескова. Впечатления от их многоразового чтения отложились, как в породы в грунте, в памяти писателя, чтобы когда-нибудь обязательно оказаться полезными. А память у него была отличная: через шестьдесят лет он легко воспроизвел в «Загоне» знаменитое лечение «лоснящеюся сажей»: «Вслед за тем в Пензе была получена брошюра о том, как у нас в России все хорошо и просто и все сообразно нашему климату и вкусам и привычкам нашего доброго народа. И народ это понимает и ценит и ничего лучшего себе не желает; но есть пустые люди, которые этого не видят и не понимают и выдумывают незнать для чего самые глупые и смешные выдумки. В пример была взята курная изба и показаны ее разнообразные удобства: кажется, как будто она и не очень хороша, а на самом деле, если вникнуть, то она и прекрасна, и жить в ней гораздо лучше, чем в белой, а особенно ее совсем нельзя сравнить с избой каменной. Это вот гадость уж во всех отношениях! В куренке топлива идет мало, а тепло как у Христа за пазухой. А в воздухе чувствуется легкость; на широкой печи в ней способно и спать, и отогреться, и нучи и лапти высушить, и веретье оттаять, и нечисть из курной избы бежит, да и что теленок с овцой насмердят, — во время топки все опять дверью вон вытянет. Где же и как можно все это сделать в чистой горнице? А главное, что в курной избе хорошо, — это сажа! Ни в каком другом краю теперь уже нет «черной, лоснящейся сажи» на стенах крестьянского жилища, — везде «это потеряно», а у нас еще есть! А от сажи не только

никакая мелкая гадь в стене не водится, но эта сажа имеет очень важные лечебные свойства, и «наши добрые мужички с великою пользою могут пить ее, смешивая с нашим простым, добрым русским вином». Словом — в курной избе, по словам брошюры, было целое уголье. «Русская партия» торжествовала победу; ничего нового не надо: надо жить по старине — в куренке — и лечиться сажею...» Родственник Лескова, англичанин Шкот, ставший невольной причиной разгоревшихся страстей по поводу избяной сажи, смеялся и сердился: «Мало им, что люди в этой саже живут и слепнут, — они еще хотят обучить их пить ее с водкою! Это преступление!» Шкот и сам «умел стряпать брошюры — это их англичанская страсть, — пишет Лесков, — и он поехал в Петербург, чтобы напечатать, что крестьяне слепнут и наживаются удушье от курных изб; но напечатать свою брошюру о том, что крестьяне слепнут, ему не удалось». Зато противная партия из одного только желания «насыпать соли на хвост Европе», по выражению Суворина, усугубила мрак суеверий в народе — идея о лечении благотворной «жирной, лоснящейся сажей» была поддержана в листке, который выходил в Петербурге под редакцией Бурнашова, его же рачением вышли брошюры: «О благотворном лечебном действии коры и молодых побегов ясеневых деревьев» и «О целебных свойствах лоснящейся сажи», кои распространялись в добровольно-принудительном порядке — при содействии исправников и благочинных. «В брошюре о ясени, — ядовито иронизировал Лесков, — сообщалось, что этим деревом можно обезопасить себя от ядовитых отрав и укушений гадами. Стоило только иметь при себе ясеневую палочку — и можно легко узнавать, где есть в земле хорошая вода; щелоком из ясеневой коры стоит вымыть ошелудивевших детей, и они очистятся; золою хорошо парить зачесы в хвостах у лошадей. Овцам в овчарню надо было только ставить ветку ясеня, и овцы ягнились гораздо плодуще, чем без ясеня. Бабам яшень унимал кровоток и еще делал много других вещей, про которые через столько лет трудно вспомнить. Но избяная «лоснящаяся сажа» превозносилась еще выше. В брошюре о саже, которая была гораздо объемистее брошюры о ясени, утвердительно говорилось, что ею, при благословении Божиим, можно излечивать почти все человеческие

болезни, а особенно «болезни женского пола». Нужна была только при этом сноровка, как согреть сажу, то есть скрести ее сверху вниз или снизу вверх. От этого изменялись ее медицинские свойства: собранная в одном направлении, она поднимала опавшее, а взятая иначе, она опускала то, что надо понизить. А получить ее можно было только в русских курных избах, и нигде иначе, так как нужна была сажа лоснящаяся, которая есть только в русских избах, на стенах, натертых мужичьими потными загорбками. Пушистая же или лохматая сажа целебных свойств не имела. На Западе такого добра уже нет, и Запад придет к нам в Загон за нашею сажею, и от нас будет зависеть, дать им нашей копоты или не давать; а цену, понятно, можем спросить какую захотим. Конкуренентов нам не будет. Это говорилось всерьез, и сажа наша прямо приравнивалась к ревеню и калганному корню, с которыми она станет соперничать, а потом убьет их и сделается славой России во всем мире. Загон был доволен: осатанелые и утратившие стыд и смысл люди стали расписывать, как лечиться сажею. «Лоснящуюся сажу» рекомендовалось разводить в вине и в воде и принимать ее внутрь людям всех возрастов, а особенно детям и женщинам. И кто может отважиться сказать: скольким людям это стоило жизни!»

Лечебник Каменского был ярким образчиком полнейшего медицинского невежества. В качестве лекарств Каменский предлагал «левкарь да антель, печатную землю да землю арменскую; вино малмозею, да водку буглосовую, вариан виницейский, митридат да сахар монюс-кристи». Эти загадочные письма люди «списывали друг у друга» и принимались усиленно изучать, когда приходила беда: «В феврале на день св. Агафьи Коровницы по деревням, как надо, побежала «коровья смерть». Шло это, яко тому обычай есть и как пишется в универсальной книге, иже глаголется Прохладный вертоград: «Как лето сканчевается, а осень приближается, тогда вскоре моровое поветрие начинается. А в то время надобе всякому человеку на всемогущего Бога упование возлагати и на Пречистую его Матерь и силою честного креста ограждатися и сердце свое воздержати от кручины, и от ужаста, и от тяжелой думы, ибо через сие сердце человеческое умалается и скоро порса и язва прилепляется — мозг и сердце захватит, осилеет человека

и борзо умрет». Но как к сим указаниям приступить, не знали, а только мучились в недоумении: «Где тягостно услышишь, знай, какую жилу отворять: сафенову, или против большого перста, или жилу спатику, полуматику, или жилу базику», «пускать из них кровь течи, дондеже зелена станет и переменится». Многие «вертоградины» были, без сомнения, опасны для жизни, как вот эта, например: «Аще появится болячка на челе, то пущай скоро кровь из-под языка». Надо признать, по канонам тогдашней врачебной науки сия опция считалась полезной, но производить ее следовало крайне осторожно и, конечно же, не лекарями-самоучками в домашних условиях: «Пускать кровь из сосудов, лежащих под заушной костью возле затылочной впадины, полезно при головокружении от жидкой крови и при застарелых болях в голове, — писалось в старинном пособии для врачей по кровопусканию. — К венам области головы принадлежит Захар раг, то есть четыре сосуда; на каждой губе их по паре. Пускать из них кровь полезно при язвах во рту, при кула, при боли, опухолях и рыхлости десен, а также при язвах на них, при почечуе и при трещинах в шишках. *Сюда же относится сосуд, лежащий под языком, на внутренней стороне подбородка;* из него пускают кровь при ангинах и при опухолях миндалин. Сюда же относится сосуд под самым языком, из которого пускают кровь при тяжести в языке, происходящей от избытка крови. Его следует вскрывать продольно, *так как при вскрытии поперек трудно остановить кровь*». Разумеется, ни Лесков, ни его близкие советами Каменского не пользовались, зато в творческом процессе диковинный лечебник пригодился Николаю Семёновичу не раз. Именно с этой целью, я думаю, он пополнил свой кладезь народной медицины в Киеве, присоединив к «вертоградинам» Каменского весьма своеобразное издание В. Дерикера «Сборник народных средств, знахарями в России употребляемых».